

След от вывески, или Приглашение в музей

Площадь была заполнена толпой. Людская масса шурша вползала в темную гулкую глубину храма, откуда доносились слова молитвы. Шёл 1991 год.



Впервые 31-го августа, в пятидесятую годовщину гибели М. И. Цветаевой, по ней служили панихиду в московском храме Вознесения Господня у Никитских ворот — в том самом храме, где когда-то А. С. Пушкин венчался с Н. Н. Гончаровой.¹

¹ Поэтессе Марине Цветаевой, покончившей с собой, Святейший Патриарх Алексей II дал благословение на заочное отпевание.

Когда служба закончилась, толпа двинулась от Никитских ворот к Борисоглебскому переулку — к дому № 6, где жила Марина Цветаева и где должно было состояться открытие мемориальной доски. Дом-музей открылся почти год спустя, к столетию со дня рождения Цветаевой, так что в сентябре 2012 года он отмечает свой двадцатилетний юбилей.

«Извините, пожалуйста, вы не знаете, где здесь раньше была прачечная?»

История, которую я хочу рассказать, началась с книги «Необыкновенные собеседники», которую в середине 70-х принёс мне мой отец. Её автор Эммануил Миндлин подробно рассказывал о квартире, где жила Марина Цветаева, начиная с 1914 года — до самого отъезда в 1922 году за границу, к мужу. Мой дом находился в одном из арбатских переулков — выходило, что больше чем полвека назад Цветаева жила в двух шагах от моего нынешнего места обитания. В двух шагах, но где именно? Миндлин подсказал: когда-то на стене дома была вывеска «Прачечная» и след от неё остался до сего дня. По словам Миндлина, кое-кому из стихийных краеведов удалось побывать в бывшей цветаевской квартире, где для незваных гостей кто-то из теперешних жильцов устраивал подобие экскурсий.

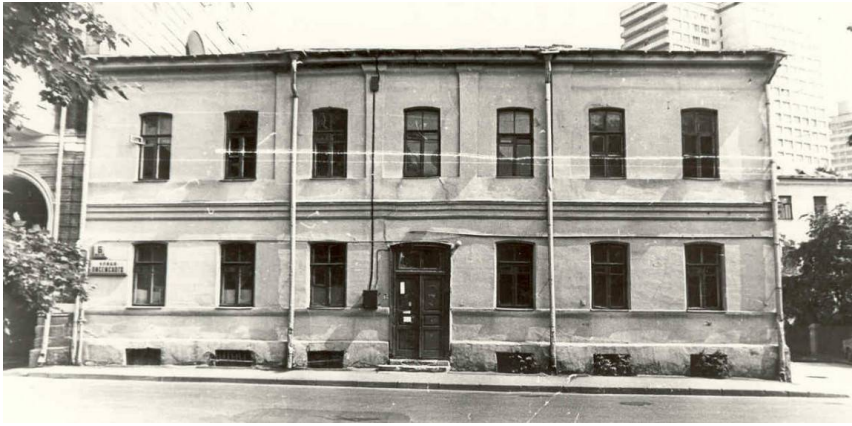
Я решила непременно отыскать этот дом, о чём рассказала моей подруге Ольге. И — попала в точку: подруга писала стихи и поклонялась Цветаевой. В один из московских осенних дней мы с Ольгой вышли из моего арбатского жилища и направились в сторону улицы Воровского (нынешней Поварской).

Нас накрыла серая водяная пыль, летящая с неба, по Новому Арбату гулял промозглый ветер. Мы с Ольгой бродили по переулкам и робко останавливали прохожих, задавая один и тот же странный вопрос: «Извините, пожалуйста, вы не знаете, где здесь раньше была прачечная?» Никто не мог нам дать ответа. По мере того как мы замерзали, робость исчезала, и мы отчаянно бросались прохожим наперерез, допытываясь, по какому адресу местные жители в былые времена носили в стирку бельё. Но почему-то наша странная любознательность ни у кого не вызывала недоумения.

(Кое-какой опыт уличных опросов у меня к тому времени уже имелся. В студенческие годы мы с одной из моих подруг останавливали прохожих на Кутузовском проспекте и интересовались, как пройти к Эйфелевой башне. Поразительно, но этот вопрос никого не удивлял. Люди всерьёз задумывались над ответом — и пожимали плечами. В лучшем случае они посылали нас... в Останкино, к Останкинской башне. Только один (!) прохожий угрожающе воскликнул: «Что-о-о-о-о?!» Должно быть, абсурд настолько стал частью нашей жизни, что перестал быть абсурдом и стал восприниматься как нечто не противоречащее здравому смыслу.)

Обойдя все окрестные переулки и окончательно продрогнув, мы с Ольгой решили проявить свою страсть к краеведению в последний раз. И, представьте, нам наконец повезло: старушка, шедшая по улице Писемского (нынешнему Борисоглебскому переулку), с готовностью остановилась и подробно объяснила, как найти нужный дом.

Через несколько минут мы уже стояли возле него: на торце дома ясно был виден след от вывески. Тут наша решительность исчезла окончательно.



Но, потоптавшись какое-то время на каменном крыльце, мы всё-таки открыли дверь, поднялись по деревянной лестнице и остановились на площадке второго этажа, где, как было сказано в книге Миндлина, находилась квартира Цветаевой. После долгих колебаний, преодолевая неловкость, мы решили позвонить в квартиру слева и ошиблись: в этой квартире Цветаева никогда не жила. Оставалась квартира справа.

Из неё появилась кудрявая пожилая женщина в кухонном переднике, раздобревшая, с большим мясистым носом и маленькими глазками на широком бесцветном лице. Почему-то я сразу решила, что она работает секретаршей в какой-нибудь конторе. Позже, рассказывая о своей жизни, она с гордостью упомянула, что после революции была рабкором в одной из газет, верой и правдой служила коммунистической партии, а о Цветаевой сообщила, что «её муж был белогвардейцем, нашим врагом» («нашим» прозвучало, как «моим»). Слово «р-р-рабкор-р-р-р» она произнесла с таким зловещим скрежетом, что у меня мурашки побежали по спине.



Анастасия Ивановна Рогачевская — так звали бывшего рабкора — устроила нам экскурсию по квартире. Сначала мы попали в маленькую вытянутую комнату: она когда-то служила Цветаевой кабинетом — теперь в ней жила Рогачевская. Тире здесь — мост: причудливая судьба перекинула его над пропастью, соединяющий два абсолютно несоединимых в этих стенах имени.

В торец комнаты упирался небольшой столик (или это была тумбочка, не помню), там стояла фотография Цветаевой, а перед ней лежала тетрадка с отзывами посетителей. Записей было немного, но они были! Эта квартира явно хотела принадлежать Цветаевой и быть музеем. По словам Рогачевской, все обои в кабинете были когда-то исписаны стихами Марины, но после того, как она уехала из этого дома, новые жильцы наклеили новые обои поверх старых. Все последующие обитатели этой комнаты поступали так же. Во время последнего ремонта обои оторвали — все сразу — и выбросили во двор, в мусорный бак. Попытки их обнаружить к успеху не привели.

Квартира была коммунальной, и наш экскурсовод постучалась к соседям, занимавшим бывшую цветаевскую гостиную с окном в потолке. Нам удалось попасть и в другие комнаты, и даже на кухню, выше этажом.

Уходя, я спросила Рогачевскую, можно ли привести сюда кого-нибудь из моих друзей. Она разрешила, и в доме на Писемского перебивали едва ли не все мои друзья и знакомые.

Однажды пронёсся слух, что жильцов этого дома собираются выселять, а дом перепланировать и отдать какой-то строительной конторе.

Я верю в неслучайность совпадений. Как раз в это самое время мне приходилось едва ли не каждый день пробегать мимо крыльца цветаевского дома по пути в редакцию газеты «Московский комсомолец», где я работала. Меня стал преследовать мираж строительной конторы, которая будет здесь хозяйничать, — и в конце концов я не выдержала, позвонила главному архитектору нашего Киевского района и произнесла довольно безумную по тем временам речь (имя Цветаевой было тогда ещё полузапрещено): «Это единственный сохранившийся в Москве дом, где жила Цветаева! На что мы обрекаем наш город, наших потомков? Вы представляете, что будет, если и этот дом уничтожат?!»

Главный архитектор отказывался что-либо представлять. Ему было скучно продолжать беседу. Он ответил мне, что перепланировка дома — вопрос решённый и что ему к этому нечего больше добавить.

Публикация в «Литературной России»

Ответ скучающего чиновника так меня возмутил, что я решила обратиться в Общество охраны памятников

истории и культуры нашего района. Пожилой человек, почему-то в военной форме, сидел за столом и перебирал бумаги. Я обрушила на него всю информацию о доме Цветаевой, и, конечно, о том, что этому дому грозит уничтожение. Был конец рабочего дня, и на лице моего собеседника возникло нетерпение, которое переросло в раздражение. Хранитель памятников хотел домой. Я сделала вид, что не заметила этого и предложила ему не откладывая пойти со мной к Рогачевской: «Честное слово, это не займёт у вас много времени, до улицы Писемского рукой подать! Очень прошу, пойдёмте!». Он был категоричен: «Рабочий день закончен. Я иду домой». Я поняла, что наступил решающий момент, и, уже чуть не плача, заявила, что не тронусь с места, пока он не согласится со мной пойти. Тянуть нельзя, дом погибнет! Как ни странно, в этот вечер мы всё-таки побывали у Рогачевской в гостях.

Увы, последствий этот визит никаких не имел, но я с какой-то уже бессмысленной настойчивостью продолжала звонить в Общество охраны памятников. Стало ясно, что сражение с ветряными мельницами мною проиграно окончательно. В отчаянии я решила отправиться за помощью к моему другу, поэту Володе Леоновичу.

Я застала его за письменным столом. Он тут же оставил свою работу, выслушал меня и сказал: «Пошли к Тамаре! Она занималась музеем Боратынского в Маре, на Тамбовщине, у неё есть опыт в таких вещах». И мы отправились к Тамаре Александровне Жирмунской.

Был конец 1978 года. Я пишу об этом из будущего, уже зная, что серьёзные Володиные усилия будут направлены не только на спасение дома Цветаевой, но и на спасение дач Пастернака и Чуковского в Переделкине. Для подобных дел он не жалел ни времени, ни

нервов. Помню, например, как Леонович читал мне своё гневное письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР, К. У. Черненко, когда в октябре 1984 года милиционеры и грузчики выбросили вещи из дома Пастернака на улицу.

Итак, мы с Володей пришли к Тамаре Жирмунской. После долгих размышлений было решено, что есть только один путь спасти цветаевский дом: добиться в «Литературной газете» публикации письма известных писателей, в котором они призвали бы к созданию Дома-музея Марины Цветаевой. И — одновременно с этим — разослать письмо во все высокие инстанции, во все правительственные учреждения.

Текст письма мы сочиняли несколько часов кряду и очень при этом веселились, воображая реакцию членов редколлегии «Литературки» и государственных мужей, читающих наше послание. Тамара Александровна мудро охлаждала наш с Володей пыл, когда, забыв об осторожности, мы предлагали слишком резкие и категоричные высказывания. Подписи под нашим текстом должны были поставить Николай Тихонов, Маргарита Алигер, Павел Антокольский (он по состоянию здоровья отказался это сделать), Анастасия Цветаева и, кажется, ещё кто-то. Каждый из нас выбрал адреса, по которым надо было отвезти письмо. Я отправилась в Дом на набережной (в Дом правительства) к Тихонову, но он был в больнице, и я передала конверт его жене. Не помню, по какой причине мы собирали подписи дважды: во второй раз кому-то из нас пришлось ехать ещё и к Константину Симонову.

«Литературка» публиковать наше воззвание отказалась наотрез. Выход нашла Тамара Жирмунская: она обратилась к одной своей знакомой, сотруднице газеты

«Литературная Россия», и та вызвалась нам помочь . «Вам повезло, — сказала журналистка. — Сейчас конец года, и можно попытаться опубликовать ваше письмо. Надо поднимать интерес к газете, увеличивать подписку, поэтому не исключено, что могут пройти даже такие материалы, как ваш. В другое время года это было бы невозможно». Удивительно, от чего порой зависят наши судьбы.

Публикация в «Литературной России» вызвала лавину откликов. Помню, к примеру, письмо ленинградского отделения Союза писателей в нашу поддержку. Конечно, мы обрадовались неожиданно активному неравнодушию коллег и читателей, но прекрасно сознавали, что до светлого часа ещё очень далеко.

20 лет назад

Вскоре после нашей публикации в газете я в очередной раз привела кого-то из своих знакомых к Рогачевской. Она приняла нас неохотно, была не в духе. Я никак не могла понять причину её раздражённого состояния, пока не услышала: «Вы только представьте себе! Какие-то мерзавцы написали в газету о том, что в этой квартире, видите ли, надо открыть музей Цветаевой! И это в то время, когда империалисты всех мастей бросили все свои силы на борьбу с Советским Союзом! Когда они тянут свои щупальца, чтобы сомкнуть их на нашем горле!» Рогачевская негодовала. Экскурсия по квартире была явно под угрозой. Я слегка толкнула локтем стоявшего со мной рядом приятеля, он толкнул своего соседа — и мы все дружно промолчали в ответ. Больше я сюда не приходила.

Зато я стала довольно часто появляться в квартире этажом ниже: там жила Надежда Ивановна Катае-

ва-Лыткина, военный хирург, искусствовед, защитница дома. Разумеется, ни я, ни она тогда не могли даже предположить, что ей предстоит на целое десятилетие стать научным руководителем в Доме-музее Марины Цветаевой, который здесь откроется. Надежда Ивановна часто рассказывала мне о своей жизни, о том, как студенткой ушла на фронт и оперировала в полевых госпиталях, как чудом спаслась много лет спустя, будучи едва не арестованной по «делу врачей»...



На концерте в честь открытия
Дома-музея М. Цветаевой 12 сентября 1992 года.
В первом ряду слева — Эсфирь Семеновна Красовская, директор
Дома-музея М. Цветаевой,
справа — Надежда Ивановна Катаева-Лыткина,
научный руководитель Дома-музея М. Цветаевой

Я привела к ней Леоновича, а он однажды пришёл к ней с Жирмунской, которая, как выяснилось, и раньше уже была знакома с Надеждой Ивановной. Мы бывали в этом доме постоянно — и отдельно друг от друга, и вместе. Хорошо помню, как мы вчетвером сидим за столом, пьём чай, беседуем, читаем стихи.



Вскоре было принято решение снести здание, и все жильцы, кроме Катаевой, были выселены. Надежда Ивановна опасалась поджога: такой метод нередко использовался по принципу «нет дома — нет проблемы». Однажды она позвонила мне, когда в её квартиру хлынула вода с верхнего этажа и залила всю мебель. Надежде Ивановне не в чем было выйти на улицу: вся одежда в шкафу вымокла. В другой раз речь шла о срочном ремонте крыши. Мой муж Миша Шор, который в это

время заканчивал Литературный институт и готовился к защите диплома, оставил свои занятия и в компании с Леоновичем провел несколько дней на крыше дома Цветаевой. Ремонтные работы, по счастью, увенчались успехом.

Потом были годы борьбы за музей, но я, по личным обстоятельствам, в этом участвовать уже не могла.

Я счастлива, что усилия всех защитников этого дома оказались не напрасны, что сегодня Дом-музей Цветаевой существует и что он находится в руках замечательного человека — Эсфири Семёновны Красовской, создавшей в нём крупный культурный и научный центр. Если будете в Москве, зайдите туда, не пожалеете!